ЮРИЙ НАГИБИН

НАУКА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Взгляд советского писателя на Данию конца семидесятых годов XX века.

- Юрий Маркович Нагибин
  - ○

Юрий Маркович Нагибин
Что сказал бы Гамлет?

Из путевого дневника

Редко бывает, чтобы человек ехал в чужую страну и не создал в душе хотя бы смутного, приблизительного ее образа. И конечно, отправляясь по делам кинематографическим в Копенгаген (совместный фильм о великом пролетарском писателе Мартине Андерсене-Нексе), я нес в себе образ Дании — зыбкий, нестойкий, расплывающийся при малейшей попытке придать ему хоть какую-то определенность.

Этот образ строился из весьма разнородного и случайного материала: пахнущие цветами и снегом сказки Ганса Христиана Андерсена, страстные исповеди удивительнейшего мыслителя и писателя Сёрена Киркегора, расплесни той эротической волны, которую лет десять назад поднял, погнал и обрушил на Европу маленький, пристойный от века народ, — иные западные социологи окрестили это порнографическое цунами «сексуальной революцией».

Когда я приехал в Данию, мои представления об Андерсене и Киркегоре нисколько не изменились. Пожалуй, лишь одно царапнуло душу — до чего верна поговорка «Нет пророка в своем отечестве»! Великий сказочник популярен в собственной стране куда меньше, нежели у нас. Внешне все в порядке: в Оденсе на острове Фюн, куда я не попал, приезжим показывают дом, где родился Андерсен; в Копенгагене поставлен памятник не только ему самому, но и дивным его лебедям-оборотням; в центре города, от площади Ратуши, пролегает широкий бульвар его имени. Но датчане были искренне удивлены моим настойчивым желанием попасть в Оденсе и еще больше тем, что в эти дни в Ленинграде начался «фестиваль Андерсена». «За что вы его так любите?» — вежливо округляли глаза интеллигентные датчане. «А кому дети человеческие обязаны пробуждением фантазии, сладкого дара мечты? — не слишком напрягаясь, отвечал я. — Чем были бы мы все без Кая и Герды, Спящей королевы, Стойкого оловянного солдатика, Русалочки?» Собеседники деликатно пожимали плечами: вы полагаете?.. «Ну а за что вы его так не любите?» — улыбаясь, но про себя злясь, спрашиваю я. «О нет, мы любим, конечно…»

Никогда и ни о чем не спрашивайте датчанина впрямую, постарайтесь узнать интересующее вас обходным, окольным путем. На прямо поставленный вопрос датчанин почти никогда не отвечает. Конечно, бывают исключения, но я говорю о характерном, общем свойстве. Датчанин сразу замыкается, уходит в себя, на лицо его наплывает тень печали, а взгляд становится отрешенным, он смотрит то ли мимо вас, то ли сквозь вас в какую-то далекую арктическую пустоту, где небо, льды и тишина, где в помине нет докучных, тягостных вопрошателей. Он молчит и ждет, чтобы вы отказались от своего вопроса. И нередко старания его увенчиваются успехом. Тогда он возвращается из своего далека, оживляется, светлеет, вновь становится мил и любезен. Но если вы настаиваете, если вы упорно и безжалостно хотите получить ответ на свой вопрос, он будет уходить все дальше и дальше в сумрак, в чашу, в свое укромье, как смертельно раненный зверь.

Откуда это свойство? Не знаю. Влияние климата? «А мысли тайны от туманов», — поет варяжский гость, утверждая, что волна морская проникла в кровь варягов. Опасное, изменчивое море вырабатывает в людях настороженность, молчаливость, всегдашнюю готовность к отпору. А может, все дело в повышенной щепетильности — ведь слово изреченное есть ложь, так не лучше ли промолчать? Даже на простой бытовой вопрос редко услышишь прямой ответ. Спросите датчанина, пришедшего с улицы, какая сегодня погода, он кинется к телефону и позвонит в бюро погоды. После этого даст вам исчерпывающую официальную справку, за точность которой не отвечает.

Мне слишком хотелось понять необъяснимую холодность соотечественников Ганса Христиана к своему величайшему писателю, и я проявил жестокую настойчивость. Помню, как мучительно, неуверенно, задушенно прошелестел наконец ответ: «Его сказки слишком печальны для детей, а иногда… даже слишком страшны». Признаюсь, я так и не понял, что это значит. Печаль Андерсена легка и поэтична, она не угнетает, а возносит душу. А сказки братьев Гримм или русские народные сказки куда страшнее, но ведь дети в них души не чают. И все же мне пришлось отступиться — потомки викингов недвусмысленно дали понять, что больше не скажут ни слова.

Что касается Сёрена Киркегора, чью потрясающую книгу «Повторения» я прочел незадолго до поездки, то с него и началась мои Дания.

Оглушенный перелетом, я но заметил, как мы выехали с запруженной машинами площади, промахнули пятнадцать километров, отделяющих аэропорт от города, миновали окраины

и проскочили центр. Я очнулся в накрытой плотной тенью длинной и узкой улице, чей печальный сумрак проблескивали золотые луковки православной церкви. Но луковки я вдруг потерял, не успев поместить в пространстве, а машина оказалась перед величественным круглым собором с редкостно мощным куполом. «Марморкирке», — сказал мой спутник и соавтор по будущему сценарию Томми Флюгт.

Собор окружали по цоколю позеленевшие от времени бронзовые статуи отцов церкви, осчастлививших свой народ кто переводом евангелия на датский, кто распространением христианства, кто отстаиванием праведной лютеранской веры, кто просветительством, кто иным богоугодным деянием. Исполненные смиренного достоинства и бесконечного терпения к безжалостным голубям, залепившим их почтенные головы, рясы и мантии белесым, в проголубь клейким пометом, несут они вековую вахту у округлых стен храма. И тут меня резануло по глазам нарушением декоративного ритма слева от входных дверей — там, на цоколе, помещался кто-то явно лишний, втиснувшийся между зелеными старцами своим смуглым бронзовым телом, еще не тронутым патиной времени и пощаженным голубями. В этой фигуре были живость, нервность и острота, принадлежавшие как самому оригиналу, так и современной манере ваяния. Человек носил мирскую одежду: обтяжные панталоны, прихваченный в талии сюртук, тугой жилет и высокие воротнички по моде середины девятнадцатого века. Его большая, несоразмерно большая голова чуть наклонена, чем подчеркнута мощь крутого чела, и странной кажется словно извиняющаяся полуулыбка, нет, складка красивого, горького рта. Скульптор не дал ему бронзового покоя — человек сделал торопливый, короткий шаг, он хочет поскорее проскользнуть туда, где будет защищен от любой любопытства окружающих. Сильно забившимся сердцем я вдруг угадал его, хотя никогда не видел ранее изображений Сёрена Киркегора. А ведь он проскользнул-таки, подумалось мне, мимо своих ничего не понявших в нем современников в двадцатый век, — Хейдеггер, Ясперс, Сартр — духовные дети Киркегора, не имевшего детей во плоти. Любовная трагедия, пережитая им на заре жизни и потрясшая его существо (он оказался неспособен к браку, и невеста его досталась другому), открыла в скромном, умственно благовоспитанном молодом человеке такие странные силы, что он разом вышагнул из своего времени.

Юный богослов утверждал, что с богом нужно разговаривать не языком лицемерного смирения, а зычно-требовательным басом библейского Иова. Силой взыскательной веры можно не

допустить Господа выйти из образа всеблагого. Киркегор считал, что поднимись он в своей вере до простодушной наглости Иова, то сохранил бы невесту.

Здесь не место излагать философские и религиозные воззрения Киркегора. Но поразительно, что из насильственного оскопления средневекового философа Абеляра возникло новое этическое учение и дивная переписка с потерянной возлюбленной, ставшая жемчужиной эпистолярной прозы, а из фиаско, как назвал Стендаль в трактате «О любви» драму неполноценности, Сёрена Киркегора — целая философская система, имя которой экзистенциализм. Разумеется, не системой взглядов дорог мне Киркегор, а редкой, художественной силой своей прозы.

Маленькая Дания представлена в коллективной работе человечества великими мастерами: в глубине семнадцатого столетия астроном Тихо Браге с непостижимой точностью определил положение светил, что позволило Кеплеру вывести свои знаменитые законы движения планет; великий физик Эрстед, открывший явление электромагнетизма, искал связь между светом, теплом, электричеством и магнетизмом, предвосхитив идеи будущего. Сёрен Киркегор, Ганс Христиан Андерсен… А был еще ваятель Торвальдсен, в котором сконцентрировалось последнее — могучее и уже мертвое — напряжение классицизма; был властитель дум нескольких поколений литературный критик и публицист Георг Брандес; были прекрасные прозаики: Понтопиддан, Банг, Иенсен и величайший — после Горького — пролетарский писатель Мартин Андерсен — Нексе; был путешественник, писатель, гуманист, один из лучших людей века — Петер Фрейхен; была королева немого кино Аста Нильсен; был и навсегда остался в мировой науке тот, кого следовало бы назвать первым, Нильс Бор…

Но где-то в шестидесятых годах Дания решила удивить мир не формулами Бора, но странными грезами художника Вилюмсена, не новыми вкусовыми изысками золотистой продукции пивника Туборга и не другими всплесками национального гении, а великой сексуальной свободой. Быть может, Дания ничего не решала, даже наверняка не решала, просто игрой обстоятельств оказалась во главе исподволь назревавшей в Европе половой раскрепощенности. И потекли на экраны мира искусно состряпанные сексфильмы, до предела откровенные лайф-шоу отбросили в провинциальное забвение классический стриптиз, заработала мощная порнопромышленность. И пусть богатые, завистливые шведы, жадно тянущиеся к Дании и не могущие простить ей, что

Копенгаген, а не Стокгольм неофициальная столица Скандинавии, вскоре превзошли своих соседей и возглавили «сексуальную революцию», подведя солидную теоретическую базу под оголтелое забвение всех нравственных норм, несомненный приоритет Дании долго поддерживал в глазах знатоков ее порнографическое величие. В большой мере этому способствовало кино, где шведы не потянули. Диву даешься, как ловко умеют позлащать грязь датские киношники! В их фильмах много вульгарного блеска, выдумки, находчивости, остроумия, а порой и драматизма, тут снимаются (без раздеваний) лучшие артисты кино, театра, даже оперы. Так, в супернепристойном фильме «Агент 69» одну из главных ролей играет знаменитый датский тенор.

Фильмы, подобные «Агенту 69», — последние отблески датского эротического расцвета. Сексуальная волна спала. То, что еще сохранилось в Копенгагене, служит лишь приманкой для туристов, преимущественно заокеанских, в их представлении Дания остается самым заманчивым эротическим садом бабушки Европы. Я видел их на Истедгаде, за главным вокзалом — старых, развеселых, очень пестрых, на мужчинах красные штаны, полосатые пиджаки, на рослых, лошадеобразных женщинах — облегающие комбинезоны, яркие шейные платки. Они, посмеиваясь, забегали в секс-лавочки, смотрели за пыльными занавесками кошмарные короткометражки, с тем же добрым смешком перебирали резиновые изделия и что-то приобретали на память, листали преступно-кощунственный журнальчик «Лолита».

Среди этих туристов, являя какую-то мистическую суетность, толкался крепкий слепой старик в черных очках, держась за подпругу, то бишь за ремень своей жены-лошади. На другой день я встретил этих туристов в Эльсиноре. Они всерьез считали, что трагическая история принца датского разыгралась во дворце XVII века, главной достопримечательности Эльсинора. Поняв это, весельчак гид стал плести несусветную чушь, утверждая, в частности, что тень отца Гамлета до сих пор бродит по источающим тлен и сырость залам. Я видел, как раздувались ноздри слепого старика, в этих воньких покоях он получал неизмеримо больше впечатлений, нежели на Истедгаде. Гамлет же присутствует в Эльсиноре лишь в виде большого приморского ресторана с очень высокими ценами, носящего его имя.

Датчане крайне холодно относятся и к Гамлету, и к Эльсинору. Их раздражает, что страну прославил случайный и ничем по примечательный эльсинорец Амлет, чье имя, переврав, Шекспир извлек из средневековых хроник и наградил бессмертием.

Еще одно средоточие ночной жизни Копенгагена — Нью-хавн, неподалеку от моего отеля «Викинг». Здесь развлекаются преимущественно моряки и самые отчаянные прожигатели жизни, так, во всяком случае, считает большинство коренных копенгагенцев. Но я подозревал, что за таинственно закрытыми с вечера дверьми, расписанными широкобедрыми русалками, скелетами, кинжалами и масками — манящими атрибутами опасности, за дверьми, отрыгивающими в мгновенном распахе оглушительно шумную музыку из полутемных, подсвеченных красным недр, ничего не происходит. Днем там скучно торговали сигаретами, пивом и аперитивами, а некоторый аромат романтической морской жизни исходил от расположенных в полуподвальных этажах татуировочных заведений. Не раз можно было наблюдать, как полуголый дядя в клешах терпеливо подставлял живот и грудь для наведения на смуглую кожу нагих дев, пронзенных сердец, якорей и трогательных надписей.

Однажды, возвращаясь в отель около полуночи после долгого, утомительного рабочего дня, одуревший от бесконечного пережевывания политической ситуации той давней поры, когда Нексе разочаровался в социал-демократах, я возжаждал острых ощущений. Старый-престарый мотив нэповских времен всплыл из глубины памяти:

Однажды некий барон
Зашел случайно в притон,
Увидел крошку Джанель,
Всю извиваясь, как змей…

Неужели Новая гавань, настолько выдохлась, что там не осталось хоть отзвука былых оргий, поцелуев, лязга матросских ножей? Забытое танго изнывало в моей душе, подгоняя к закрытым дверям.

Я выбрал самую зловещую дверь, на ней была намалевана голова саблезубого вампира с окровавленным ртом. Полутьма, табачный и каминный дым, оглушительная музыка на миг ввели меня в заблуждение. Мне почудилось, что тут и впрямь что-то есть. Сейчас из сизых клубов ко мне кинется крошка Джанель, вся извиваясь, как змей. Я вспомнил, что — «Матрос был дико ревнив…».

Будь что будет! Моя лихая молодость вспыхнула во мне. Но никто не кинулся навстречу. Ни малейших признаков крошки Джанель не было в пустом, прогоравшем кабачке. А матрос? Он одиноко сидел за столиком над рюмкой зеленого ликера и бутылкой пива — толстый, белобрысый, с баками-колбасками на

красной добродушной физиономии. Обрадованный появлением живой души в безнадежной пустоте, он окликнул меня и пригласил за свой столик. Я подсел к нему, он не дал мне сделать заказ.

— Я из Ирландии, — сказал он с таким видом, будто это доказывало его право поставить угощение.

— А я из Москвы! — с некоторой запальчивостью возразил я.

Он привстал и пожал мне руку.

— Я из Ирландии, — мягко, но с намекающей настойчивостью повторил он.

Я давно не видел газет и не знал, что происходит в Ирландии, к тому же матрос не сказал, какую из двух Ирландии он представляет. Надо думать — главную, где Дублин. Воспользовавшись моим замешательством, он успел сделать заказ сонному грустному официанту. Через минуту перед каждым из нас стояло по бутылке пива «Туборг», высокому стакану и рюмке зеленого ликера. Наклонив стакан, я наполнил его светлым пенящимся пивом, и мне запахло не пивной горечью, а сладковатым ароматом Тропической Африки.

— Я из Ирландии, — сказал матрос, коснувшись моей руки.

— С чем тебя и поздравляю, друг!.. — А в памяти было зеленое повыбитое копытами поле для игры в конное поло и рослый, красновато-загорелый, рыжеволосый человек, подошедший к нам, ведя в поводу небольшую гнедую кобылку. Матч только что закончился, и человек, игравший за команду дипкорпуса, забил решающий гол. Он смахивал пот со лба, раскланивался со знакомыми, белозубо улыбался, принимая поздравления. Высокая яркая блондинка протянула ему жестянку с пивом. Он дернул колечко и опрокинул банку над жадно открытым ртом.

— Только ради этого и стоит изнурять себя игрой, — сказал он, напившись. — В такие минуты я души не чаю в своем тесте.

Это был датский посол в Нигерии, зять пивного короля Туборга. В Копенгагене знаменитая марка «Туборг» лезет вам в глаза со всех сторон: с рекламных стендов, с экрана телевизора и кино, с кузовов громадных грузовиков, без устали перевозящих ящики с полными и пустыми бутылками, возле каждого магазина, ресторана, бара, ларька высятся штабеля этих ящиков; пиво пьют всюду, всегда, в любое время дня и ночи: в учреждениях, институтах, универсальных магазинах, кино, издательствах, редакциях газет, на паромах и пароходах, в потреблении пива датчане оставили позади таких исконных пивохлебов, как чехи и немцы.

Фирма «Туборг» — это государство в государстве. В отелях

дают карты города, где красной полосой вычерчен путь из центра к заводу «Туборг»: от площади Ратуши по бульвару Андерсена на прямую, длинную Остерброгаде, переходящую в Страндвейн, упирающуюся в красный дворец под королевской короной: Туборг — поставщик двора. Дальше пути нет, как бы говорит карта. На самом деле шоссе проходит мимо предприятия, где возле заводоуправления высится гигантская, с небоскреб, пивная бутылка. Порой кажется, что вся Дания лишь привесок к империи «Туборг». Мне попадались карты, где слово «Туборг» написано более крупным и жирным шрифтом, чем слово «Копенгаген». И все же в Дании пивное двоевластие: удачливый Карльсберг поднялся почти вровень с великим Туборгом. Кроме того, в разных городах варят свое пиво. Дания — страна пивная и молочная; «европейской маслобойкой» называют город Ганса Христиана Андерсена — Оденсе. Красные датские коровы щедры на прекрасное жирное молоко. В стране совсем нет рек, только фиорды, каналы, озера, пруды. Здесь текут символические молочные и пивные реки. Но я не люблю ни молока, ни пива и сейчас впервые по приезде отведал напитка, так хорошо освежившего после бешеной скачки моего нигерийского знакомца. Кстати, я слышал, что старый Туборг умер и теперь на троне королевства Туборг, как и на троне Датского королевства, сидит женщина, та самая яркая блондинка. А муж ее, бывший дипломат, стал принцем-консортом.

— Я из Ирландии! — капризно сказал матрос.

Я вспомнил о Гомруле, борьбе за освобождение, Джойсе, Шопе О'Кейси и Питере О'Туле.

— Да здравствует Ирландия!

Мы чокнулись, рука матроса дрожала, слезы налили уголки бледно-голубых глаз. Да, выродилась матросская удаль. Уверен, что никакая крошка Джанель не расшевелит этого телка, вспоенного пивом. Надо сматываться, тут ничего не будет, потому что не будет никогда, если перефразировать чеховского «ученого соседа».

— Я из Ирландии, — напомнил матрос.

Мне захотелось дать ему в ухо. Но повода не было.

— Будь здоров, друг, — сказал я. — Кланяйся своей Ирландии.

Он забормотал жалобно, кажется, уговаривал меня посидеть еще. Я был уже в дверях, когда он вскочил, уронив бутылку, и в два прыжка настиг меня.

— Ты из Ирландии? — спросил я в упор.

Он растерялся, отступил, заморгал пшеничными ресницами.

— Да… Откуда ты знаешь?

— Догадался!

И я вышел на прохладную пустынную набережную.

Кончился ночной Нью-хавн. Изжил себя ночной Копенгаген. Но стоит ли об этом жалеть? Дурные чары рассеялись, врожденное здоровье нации победило. Один датский социолог сказал мне, что в «сексуальной революции» был свой положительный смысл. Она уничтожила иные «табу», способствующие возникновению у подростков дурных комплексов. Так ли это — судить не берусь. Ученого социолога я вскоре потерял, а рядовые датчане крайне неохотно говорят на подобные темы, лишь замечают с лукаво-сочувственным видом, что их соседям шведам сексуальная свобода отнюдь не прибавила пыла…

Но довольно об этом. Датчан сейчас интересует не секс, а политика. Слишком много проблем поставила жизнь перед маленькой страной, и демократическая партия, стоящая у власти со времен бородатого винолюба Стаунинга, не может их разрешить, датское общество лихорадит. Казалось бы, и десяти партий довольно для страны с менее чем пятимиллионным населением, а недавно возникла одиннадцатая. Ее появление весьма примечательно.

Подробно я узнал об этой партии в парламенте на короткой лекции, которую читает посетителям в зале заседаний служащий в форменной синей рубашке, похожий на актера Бельмондо. То был на редкость веселый, ироничный, лишенный пиетета к чему бы то ни было человек. Указав с комически значительным видом, кто где сидит — места у депутатов постоянные, он познакомил нас с политической структурой страны, весьма вольно и малопочтительно охарактеризовав платформу каждой партии. «А к какой партии принадлежите вы сами?» — спросил я его. «К партии свежего воздуха!» — ответил он со смехом. «Это что же — двенадцатая партия?» Он снова рассмеялся: «Нет! Но знаете, двенадцатая партия появлялась-таки на свет. Это партия пенсионеров. Она участвовала в последних выборах, выставляла своих кандидатов. Эту партию упрекали в неполноценности: у всех, мол, есть свои молодежные организации, у вас нет и быть не может. Но пенсионеры нашли выход и создали молодежную организацию из… дебилов. Партия провалилась на выборах и распалась, а дебилы вновь стали несоюзной молодежью». Самое невероятное, что все это правда.

А вот с одиннадцатой партией шутки плохи. По количеству мандатов (двадцать семь) она занимает второе место вслед за социал-демократами. Называется партия «прогрессивной». Ее позиция, со смехом сказал датский Бельмондо, чуть левее самых

правых, чуть правее наименее левых. Но чем больше рассказывал он об этой партии, тем меньше видел я причин для веселости. Главный лозунг партии, привлекший к ней много приверженцев, прежде всего мелких торговцев: освобождение от налогов, которые действительно тяжелы в Дании, поглощают значительную часть доходов населения. Перспектива эта столь заманчива, а глава партии, юрист Могенс Глиструп, специалист по налоговой системе, так красноречив, что даже людей, но вовсе чуждых интеллектуальной жизни, не отвращает предложенный Глиструпом путь: все, что безвыгодно, убыточно, должно быть изъято из жизни датского общества. Невыгодна, оказывается, культура — долой культуру! Если даже Королевский театр — гордость нации — убыточен, закрыть Королевский театр! Никаких дотаций на искусство, литературу, к черту музеи, выставки, фестивали, неокупаемые издания! Ликвидировать министерство культуры. К черту социальные учреждения, если они приносят убытки: ясли, детские дома, бесплатные школы. Немедленно ввести строжайший контроль над дотациями и, разумеется, политическую цензуру, ибо без нее партия «прогресса» не выполнит своих высоких задач. Не правда ли, знакомая песня? Если к этому добавить, что «прогрессистов» отличает зоологическая ненависть к Советскому Союзу и странам социализма, то само собой всплывает иное, крепко настрявшее в ушах поколений название партии: фашистская. С тех же лозунгов начинали нацисты в Германии, чернорубашечники в Италии и опору имели также в мелкобуржуазном слое.

У Глиструпа практика не расходится с теорией: создатель многих липовых акционерных обществ, он скрыл от государства 60 тысяч крон подоходного налога. Но его приверженцы видят в этом лишь цельность натуры вождя: поделом государству — рассаднику убыточных, никому не нужных институтов, тяжким бременем ложащихся на плечи народа. Против Глиструпа начат судебный процесс, самый дорогой в истории Дании. Опытный крючкотвор ловко использует все пробелы в датском законодательстве. Одна ревизия обошлась налогоплательщикам в сумму, на которую можно было бы построить новый Королевский театр. Это вполне в духе Глиструпа, он ратует за экономию и против бумажной бюрократии, но с появлением его партии в парламенте расход бумаги в главном законодательном органе страны увеличился втрое.

Так чего же резвился парламентский служащий? Дело в том, что многие порядочные датчане не принимают всерьез бредовых устремлений «прогрессивной» партии. Они брезгливо посмеиваются, читая в газетах сообщения об очередных вылазках

фашиствующих молодых людей, у которых полиция конфискует ножи, кастеты и даже огнестрельное оружие, чаще всего обрезы боевых винтовок. Опасное благодушие! Когда-то Мартин Андерсен-Нексе говорил: начинают дети и сумасшедшие, а расплачиваются взрослые серьезные люди.

После, сидя с моим соавтором Томми Флюгтом в парламентском ресторане, я снова повернул разговор на «прогрессивную» партию. Томми, поэт, кинематографист, член муниципалитета города Хольбека, коммунист, не склонен преуменьшать опасности неонацизма. Он считает, что сейчас в ряде европейских стран повторяется ситуация двадцатых годов, когда люди смеялись над «героями пивных погребков», а к чему это привело?

— Социал-демократы пустили фашизм в Германию, — говорил Томми. — Я вижу вечную слабость социал-демократии перед фашизмом и в истории с Глиструпом. Он же уголовный преступник, а с ним ничего не могут поделать. Печальный и тревожный симптом…

Но не одно это волнует Томми Флюгта, а с ним и миллионы его сограждан. Количество безработных в Дании перевалило за пятнадцать процентов — это много. И хотя пособие по безработице очень высоко — 95 процентов заработной платы в течение двух лет, затем человек должен двадцать шесть недель отработать, после чего вновь получает право на пособие, — никто в стране не хочет этой «даровой» жизни. И не в потере пяти процентов дело, а в том, что человек деклассируется, утрачивает личность. Датчане всегда отличались трудолюбием, даже в нищих батраках была своя профессиональная гордость, заставлявшая их вкалывать не за страх, а за совесть. Лишенный работы человек кажется себе неполноценным, он перестает быть главой семьи, авторитетом в глазах детей. Безработица для датчан — это пока еще не нужда, а моральное умирание. К тому же «Общий рынок» несет беспрерывный рост цен, вроде бы соответственно повышается и заработная плата, но как-то незаметно среднему датчанину пришлось отказаться от кофе, заменить масло (и это в «масляной» Дании!) топленым жиром; курильщики запасаются табаком и папиросной бумагой — после предстоящего повышения цен сигареты станут не по карману. Недоступна и хорошая одежда. Квартирная плата съедает треть бюджета.

— Почему же за социал-демократами по-прежнему идет большинство? — спросил я.

— Традиция. Боязнь перемен. Лидеры социал-демократической партии любят повторять: может, мы и не так хороши, но без нас будет куда хуже. На осторожных,

недоверчивых датчан это действует завораживающе.

Ведь уровень жизни все еще достаточно высок, в стране порядок — от добра добра не ищут.

…Мартин Андерсен-Нексе говорил о себе, что родился в тени, отбрасываемой храмом Спасителя. Эта высокая зеленого цвета церковь с уникальной витой наружной лестницей на колокольне принадлежит двум эпохам: низ — далекой старине, верх — недавнему прошлому. И на памятник Андерсену-Нексе — превосходно выполненный бронзовый бюст, он весь словно в заусенцах, что придает ему колючую, воинственную силу, тоже ложится тень храма Спасителя, но при ином солнцестоянии. По странному совпадению взгляд бронзового Мартина обращен к той необыкновенной части города, куда устремлены сейчас взгляды многих датчан.

Называется эта часть города Христиания. Впрочем, неверно определять Христианию как часть Копенгагена, вся суть, весь смысл ее существования в противопоставлении себя столице, в отрицании ее. Это город в городе, со своим особым лицом, своим колоритом, запахом, своим уставом, хотя на поверхности никакого устава нет да и быть не может. Но он есть, этот неписаный устав, и о нем в своем месте.

Вот краткая история Христиании. Здесь находились заброшенные казармы. Когда-то в самом большом, пяти-шестиэтажном здании стала селиться городская протерь: бродяги, наркоманы, алкоголики, люди без определенных занятий. Но постепенно социальный состав будущей Христиании менялся. Сюда потянулись люди, по преимуществу молодые, которым не нравится буржуазный уклад копенгагенской жизни, не нравится потребительское общество, воинствующее мещанство, люди, не согласные с политикой военных блоков, решением спорных вопросов с позиции силы, люди, разочаровавшиеся в том мире, в котором обречены жить, тоскующие о человечьем тепле и простых добродетелях, но не ведающие или отвергающие пути прямой борьбы. Сюда же потянулись парни и девушки, не поладившие с родителями, не принимающие их веру, идеалы, вкусы, уставшие от разобщенности, отчуждения — неизменных спутников буржуазного образа жизни.

Поначалу копенгагенцы весьма благосклонно отнеслись к заселению пустующих казарм «вредными элементами». Так их куда удобнее наблюдать и контролировать, в случае же необходимости легко набросить сеть, как на диких голубей в местах привычных кормежек. Отношения усложнились, когда заброшенные казармы из ночлежки превратились в ядро странного города, а потом и в город Христианию, где тон

задавали не отщепенцы и наркоманы, а вполне здоровые молодые люди, отстаивающие новые формы человеческого общежития.

Многие из новоселов не хотели жить в грязных, пропитанных сладковатой вонью «кэша» казарменных зданиях, они приспособили под жилье бывшую комендатуру, госпиталь, домик командующего, иные притащили сюда автофургоны, железнодорожные вагоны и вагончики, в которых живут строительные рабочие — по окончании строек их распродают за бесценок. А ребята, связанные с ипподромом, прибыли о-конь и поставили в пустующие стойла своих скакунов и рысаков. Появились на улицах и пустырях Христиании коровы, овцы, козы, домашняя птица и огромное количество собак, вскоре создавших свою отдельную от людей коммуну. Открылись лавки, кафе, пивные, даже рестораны — все силами постоянных жителей, возник и рынок близ въездной арки и другой — крытый, по разнообразнейшему ассортименту под стать парижскому «блошиному». Вскоре у Христиании оказался и свой народный театр, несколько музыкальных ансамблей, постоянно действующая художественная выставка. Надо было упорядочить жизнь. Появилось что-то вроде самоуправления, распределяющего жилую площадь, устраивающего на побывку временных обитателей, следящего за санитарным состоянием города, за восстановлением и ремонтом водопровода, канализации.

По-прежнему здесь никого ни к чему не принуждают. Хочешь жить семьей, изолированно, опрятно, чисто — бог в помощь; хочешь жить табором, спать впокат на грязных половичках или старых газетах — на здоровье! И все же первичный хаос все отчетливей обретает черты разумного человечьего существования. И вот уже в «чистом» Копенгагене заговорила зависть. Как же так, обитателям Христиании жилье ничего не стоит, они не платят налогов, хотя многие прилично зарабатывают и торговлей, и кустарным промыслом, и концертной деятельностью, и другими способами. К завистникам подключились военные, задетые тем, что брошенные казармы приносят кому-то пользу. Да и городские власти взирали на изменившуюся Христианию уже не с прежним благодушием.

Начался поход против Христиании, в который включились многие доброхоты, газеты, радио, телевидение. Как только не обзывали общину «неохристиан»: рассадник заразы, угроза для детей, клоака посреди столицы, вертеп. Но у Христиании нашлись и защитники, которых очень интересует этот единственный в своем роде социальный эксперимент. Один крупный юрист взялся безвозмездно защищать интересы Христиании в затеянном против нее городскими властями процессе. Видный архитектор стал

помогать ребятам в ремонте зданий, водопроводной и канализационной сетей, чтобы покончить с обвинениями в антисанитарии — одном из главных козырей противников Христиании. И хотя в первой инстанции дело проиграно, обитатели Христиании, уповая на социальное лицемерие социал-демократов, твердо надеются отстоять свой город.

Что же такое Христиания? Поселок хиппи? По виду здешние обитатели близки к классическому типу хиппи: длинные, до плеч, сальные волосы у парней и у девушек (у парней иногда косы), джинсовые выгоревшие костюмы, у девушек еще в моде длинные обтяжные юбки, мексиканские пончо и широкополые черные шляпы, цыгано-индейские украшения. Но такой способ одеваться присущ всей западной молодежи, в Христиании он только приметнее, поскольку почти все население молодо. Жизнь в христианском первопоселении — старой большой казарме — до сих пор очень похожа на кошмар какого-нибудь Гринич-вилледжа начала семидесятых годов: никакой мебели, тряпки, газеты, вытертые шкуры на полу, алкоголь, марихуана (кэш), гитары, песни, безделье и беспорядочная любовь. Но прежде всего сильно поредевшее население большой казармы не характерно для сегодняшней Христиании, это подонки, отбросы здешнего общества. Остальная молодежь лишь на поверхностный взгляд напоминает хиппи. Ведь хиппи антисоциальны, они говорят «нет» войне, «да» любви и цветам, но по-настоящему любят лишь безделье, свободу от всяких обязательств. Обитатели Христиании придают большое значение досугу, общению, но при этом все они (я исключаю подонков) чем-то заняты: работают, учатся (многие в городе), а главное — их бытие социально заострено.

Они не просто декларируют свое отвращение к войне, насилию, военным блокам, а идут куда дальше. Так, в Христиании было создано… подразделение НАТО. Вымуштрованные офицером на пенсии «солдаты» были облачены в форму НАТО, вооружены по уставу и выпущены в город. Мнимые натовские патрули создавали в Копенгагене нервозную, напряженную обстановку. В парке Тиволи подвыпившие «натовцы» приставали к женщинам, затевали драки друг с другом и с прохожими. Словом, вели себя как оккупанты. Военный блок НАТО и без того не пользуется популярностью в Дании, а тут жители столицы буквально зубами скрежетали от справедливого возмущения. Однажды на улицах, дезорганизовав движение, появился «натовский»… танк. Тут только городские власти спохватились…

Музыкальные ансамбли Христиании, выступающие в разных местностях страны, поют политические песни, направленные

против «Общего рынка», неоколониализма, нейтронной бомбы. В дерзких, веселых и жутковатых театральных спектаклях высмеивается мещанство, пошлость сытой жизни, слепота обывателей. Как видите, это совсем не хиппи!..

Конечно, не следует преувеличивать политическую сознательность, общественную активность и социальный протест Христиании. Тут многое идет от простого эпатажа, от юного вызова «отцам», от неосознанного анархического бунтарства.

Неверно видеть в Христиании альтернативу буржуазному обществу, она порождение этого общества и может существовать лишь внутри его.

В чем же главный пафос обитателей странного городка, где отсутствуют удобства, столь привычные столичным жителям, довольно грязно, много бродячих собак, страшновато освободившихся от власти человека, но с каким-то свирепым добродушием еще терпящих прежних хозяев, всякой тягостной неразберихи? Мне думается, главное, что держит этот мирок, — в общности, чувстве локтя, плеча. Преодолены барьеры разобщенности, отчуждения, достигнуто единение с себе подобными на условиях равенства, доверия, душевной открытости. А этого больше всего недостает западной молодежи. Иные женатые люди, перебравшись в Христианию, расстаются без размолвки и взаимных претензий, просто хочется быть со всеми, а не с ней, не с ним. Это вовсе не значит, что тут отвергают брак или семью, ни в малейшей мере. Основной принцип здешней жизни: не навязывать ничего другим, люди и так устали от наставлений, требований, предписаний, ограничений, вонючего морализирования старших и власть имущих. Живите как хотите, только не ущемляйте прав окружающих.

Мне лично в Христиании увиделась извечная ребячья мечта пожить без взрослых, что-то трогательное и жалкое. Так и слышишь юный ломкий голос: «Оставьте нас в покое!»

Можно встретить и другие воплощения идеи Христиании, ибо Христиания — это, конечно же, идея, а не место жительство. У моего соавтора Томми Флюгта есть молодые друзья, с которыми я виделся в его домике под Холбеком. Ото несколько семей, решивших жить вместе — коммуной. Люди музыкальные, они создали ансамбль политической песни и ездят по стране в автофургоне, размалеванном под цирковую повозку. Живут они в загородном доме, приобретенном и обставленном на общие деньги, сообща ведут хозяйство, воспитывают детей. Такая форма общежития очень популярна у датской молодежи. Хочется, ох как хочется молодым разорвать тенета одиночества, той противостоящей миру обособленности, которой, не жалея сил,

добивались их деды и отцы. Сладко слышать рядом с собой дыхание друзей и знать, что не одна лишь бедная ячейка семьи защищает тебя в этом холодном и враждебном мире, а нечто куда более прочное и способное к сопротивлению.

Перед Данией, как и перед каждой страной, стоят свои сложные, требующие большого напряжения сил проблемы. Но, конечно же, одними лишь трудными заботами не исчерпывается образ страны. Очарование Дании, пленяющее душу с первыми сказками Андерсена, в ее неунывающих, работящих, склонных к доброй шутке людях, в ее чудесных ландшафтах с зелеными долинами, помеченными островерхими кирками и темными старыми ветряками, с невысокими холмами, поросшими буками, каштанами, кленами, березами, соснами и ежевикой в чернильной сладости переспелых крупных ягод, с фиордами, озерами и каналами, где парами плавают лебеди, а по воскресным дням раздуваются цветные паруса яхт, с теплым дыханием Гольфстрима, так чудесно смягчающим климат этой обращенной к северу страны.

Но датская погода умеет и крепко злиться. Мне не забыть, как однажды под вечер легкий осенний ветерок вдруг напрягся, посвежел, загудел, заныл и обернулся бурей. Тихое озеро, на берегу которого стоял мой маленький Страндпаркотель, заходило бурунами, клочья пены, сдуваемые с волн, полетели в окна верблюжьими плевками, а потом стекла задребезжали от сухих веток и сучков, обрываемых ветром с буков и кленов. Я вышел из гостиницы. Ветер растерзал облака, они повисли черными шапками в белесостеклянном небе, казалось, то кроны деревьев, отъятые от стволов и взметенные ввысь. Запад тяжело завалило иссиня-черными облаками, щель заката была багрова и страшна, как будто там зарезали солнце. Припускал дождь, но, гонимый ветром, не достигал земли и тратился на крышу и листву деревьев. Казалось, это навсегда, нет такой силы, которая могла бы унять разбушевавшуюся стихию. Но наутро вновь светило солнце, в синем глубоком небе ни облачка, по зеркалу воды, не тревожа ее, не плыли даже, а плавно влеклись лебеди, и только зеленые ежи каштанов и сучья, усеявшие аллеи, напоминали о вчерашнем буйстве.

Я как-то лучше почувствовал Данию, которая умеет не только улыбаться, но и грозно хмуриться. Терпеливый и мужественный датский характер воспитан бурями, непостоянством морской стихии…

Говорят, в Исландии чуть ли не каждый четвертый поэт. У меня создалось впечатление, что в Дании чуть ли не каждый четвертый художник. Быть может, это объясняется тем, что

провел я большую часть времени в живописнейшей части Зеландии, издавна облюбованной художниками, где обитали герои Андерсена-Нексе. Странствуя по земле Дитте, я то и дело натыкался на усадьбы и мастерские художников.

Въезд на участок восьмидесятилетнего абстракциониста Карла Бейера охраняли два фантастических дерева с короткими стеклянными сучьями. Приглядевшись, я обнаружил, что на обрубленные сучья насажены всевозможные бутылки: из-под пива, водки, вина, бренди, виски, джина. Если хозяин участвовал в осушении всех этих сосудов, можно только подивиться его выносливости и долголетию. Он вышел нам навстречу — крепкий, плечистый старик с красноватым, добродушно-насмешливым лицом, от него приятно пахло кюммелем, стало быть, стеклянные деревья будут и впредь произрастать в его сказочном саду, приютившем среди буков и сосен троллей, русалок, медведей, белок, райских птичек и огромного филина с глазами как плошки. Хотя мы заявились не вовремя — художник принимал знакомую даму, — он не отказался показать мастерскую, битком набитую новыми работами. Его мастеровитая и уверенная живопись показалась мне несколько сухой и однообразной, возможно, я вообще не воспринимаю подобного искусства; куда больше приглянулась мне деревянная скульптура.

А вот сосед Карла Бейера, пятидесятисемилетний Фабер, реалист чистейшей воды. Он влюблен в Зеландию и, похоже, задался целью перенести ее на полотно всю, до последнего валуна и березки с сероватым стволом. Ни разница в возрасте, ни исповедание разных художественных вер не препятствуют художникам-соседям любить и ценить друг друга. Подобная терпимость, воспитание души, ничуть не мешающая твердости пристрастий, верности набранному пути, — одна из самых привлекательных черт датчан.

В современном изобразительном искусстве Дании строгий реализм соседствует со «странным» реализмом, абстракционизм с сюрреализмом; любопытно освоение африканских (танзанийских) форм у Георга Бро, претворение кошмарных видений Иеронима Босха в очень современной графике Томаса Арнеля, сумел избежать ловушек Сальвадора Дали и Макса Эрнста талантливый фантазер Мортенсон…

Не могу расстаться с Данией, не сказав хоть нескольких слов о писателе, поэте, публицисте Карле Шарнберге, кумире прогрессивной молодежи. У нас его знают лишь по двум рассказам, опубликованным в сборнике «Датская новелла»: «Бабушка» и «Малыш»; в первом писатель прощается со старой труженицей, во втором приветствует приближающуюся новую

жизнь. Но не рассказами и даже не широко известными романами «Пожар», «Всяк кузнец своего счастья» обязан Шарнберг своей нынешней популярности, а маленьким, коротким и броским, как лозунг, стихотворениям, которыми он откликается на животрепещущие события в жизни своей страны и всего мира. Ведь сейчас почти не бывает так, чтобы случившееся в одной точке земного шара не отозвалось немедленно в других, самых отдаленных. Дымят трубы в Лондоне, а гибнет рыба в норвежских озерах, колокола по убитому где-нибудь на Гудзоне проповеднику разносятся над всеми континентами. Чеканные по форме, сочетающие аттическую соль с горячим гражданским чувством и силой боевого призыва, эти маленькие стихи, едва появившись, тут же оказываются у всех на устах. Карл Шарнберг вечно в дороге, в общении с живой аудиторией, он не считает себя профессиональным писателем и открещивается, как черт от ладана, от литературных разговоров. «Литература сама по себе меня не интересует, я ею не занимаюсь и плохо знаю» — с этого его не сдвинешь. Но как ни крути, а литература дала агитатору и борцу за мир самое сильное оружие. Не будь его стихи так отточены, так стилистически совершенны, так изящны, не владеть бы ему людскими душами.

Такие люди, как Шарнберг, служат лучшим доказательством духовного здоровья нации. Принц Гамлет утверждал в разговоре с изменившими ему друзьями витенбергской студенческой юности Розенкранцем и Гильденштерном, что весь мир тюрьма, «причем Дания одна из худших». Если б он взглянул из своего далека на сегодняшнюю Данию, то, несомненно, взял бы назад последние слова.